* * *

Первые значимые стихотворные опыты Александра Нестругина относятся ко второй половине 1970-х. Спустя десять лет в его поэзии происходит глубокое внутреннее преображение. Будто кто-то вышний придаёт лёгким невозможный прежде объём и глубину дыхания, а голосу — звонкость и редкую возможность говорить шёпотом внятно и разборчиво. Если ранее к читателю обращался литературно одаренный сердечный собеседник, то с этой поры слышишь речь поэта поистине большого.

Вячеслав Лютый,
литературный критик

СЛОВО И ПОЛЕ

Что ни строка, то в терновом венце роковом...
Речь, ты свеча — или дремлющий пал на Руси?
...Полю же — сеять и жать.
Ну и — пот вытирать рукавом
То перелеска, то пыльной лесной полосы.

Всё-то мы слова выводим особенный сорт,
Тешимся думкой, что хлеба важнее оно.
...Поле, вдыхая колючую ость и осот,
В тёмных ладонях несёт золотое зерно!

Слово, прошу: первородство своё уступи,
Чтобы миры прозревала строка на веку —
Узким прокосом, где бабушка вяжет снопы,
Век собирая рассыпанный — по колоску...

ГИМН

Губами дрогну, — звукам гимна
Навстречу... А вот петь — боюсь:
Вспухают в горле, как ангина,
Слова, в которых жив Союз –
Ещё могучий и единый,
Бедой не прибранный к рукам,
Моим не верящий сединам –
И новым ханам и князькам.
Гагаринской улыбки светом
Поднявшийся — за облака!
...Да, там махала партбилетом
Едва ль не каждая строка.
И в этом было мало прока...
И, скопом, их смахнули в грязь,
И — скопом — растоптали строки,
Где Русь — Великою звалась.

* * *

Век отцовский...Вехой — холмик
Со звездой... И — грай вороний.
А обочь — страна ли, холдинг –
С девяностых — похоронный.

Четверть века серп хоронят
И, с того же флага снятый,
В гроб не могут втиснуть молот –
Очень уж велик, проклятый!

Речка вся ушла в ольховник.
Клёном все дворы забило.

Вороньё кружит, где холмик
Со звездою… Не забыло!

ДОБРОЕ УТРО

Что там синица звенит январю,
Чем она делится с ним?
«Доброе утро!» — тебе говорю,
Прикосновеньем одним.

Марш Мендельсона давно уже стих –
За голосами внучат.
Жизни хватает мелодий простых,
Тех, что негромко звучат.

След, что позёмкой ночной заметён,
Солнышко тянется греть.
И на капели сменял Мендельсон
Маршей гремящую медь.

Слышишь? — уже заоконная тишь
Музыкой тою полна…
Той, что сыграет заснеженных крыш
Солнечная сторона!

Что там синица звенит январю,
Чем она делится с ним?
«Доброе утро!» — тебе говорю,
Прикосновеньем одним…

ВЬЮШКА

В. Н.

В той избушке, где грозился выпасть угол,—
Дуло в щели, но меж нами не сквозило.
Дров — в натруску, на растопку лишь, а уголь
Нам под Новый год, последним, привозили.

Но какие вечера зимой бывали!
Те потёмки золотые не забылись:
В грубке долго над сгоревшими дровами —
На одном дыханьи с нашим — жилка билась…

И потом,— не час, не два — тепло таилось
Угольком скупым в золе (такая малость!).
И пока его дыхание струилось,—
Неприкрытая, всё вьюшка отзывалась.

А теперь у нас — квартира, не избушка,
Только память — память греет по старинке.
И, сквозь вьюги, всё постукивает вьюшка,
Возле сердца отыскавшая жаринки.

* * *

Дам «петуха», сорвусь, собьюсь –
А вам, хористы, что за горе?
Пою — и плачу, и смеюсь! –
Не примеряясь и не вторя.

Ведь к людям чувства рвутся — вброд,
Навзрыд, глубин не вымеряя.
Во тьме их за руку берёт
Ну, разве что лоза сырая…

Пить дрожь, висеть на волоске,
Сжигать мосты, всходить на плаху
Со мной — равнине и реке,
Не дирижёрской длани взмаху.

А вы глядите свысока –
Всё мимо глаз моих, ревниво.
Зато в глазах моих — река,
Зато в моих глазах — равнина!

И голос мой, взлетев на холм,
Дрожит и меркнет — не жеманясь.
К лозе сырой, к траве сухой,
К губам горячим прижимаясь…

ПРОЩАНИЕ С ЮНОСТЬЮ

Ну, что не так на свете стало?
Июль. И сад. И полог старый,
И долгий сон в тени густой.
Пьют солнце яблоки… Но, с ними
В раздоре, жадно тянут сливы
Грозы густеющий настой.
И хруст заветренной горбушки,
И молоко в литровой кружке,
И тени снов, что щёки жгут.
И пьёшь, и пьёшь — не нужен роздых! –
Свиданий схолодавший воздух,—
И молоко стираешь с губ…
Сливовый сумрак грозовеет,
Но с яблонь — спелым солнцем веет,
И сердцу в горле горячо!
…И манит жизнь — а что ей, жалко? –

Не мятою сельповской жамкой,
А — Калачом! А — Калачом...

* * *

Месяц-сазан дремлет
меж камышовых мерёж...
Ангел сбирает со тьмы золотой виноград...
Кто-то ведёт поперёк человеческих меж
Край мирозданья, что тонок и зеленоват...

Розное станет пред этой чертою — одним.
Вот и костёр умирает — гляди! — как живой:
Пламя скулит, и в былое вжимается дым, —
И обрастает ветвями, корой и листвой!

Дым мимолётный — а ведь не истёк, не исчез,
Не запропал меж ночных омутов и стремнин:
Ширясь и ширясь, выходит из времени лес –
И обнимает озябшие плечи равнин...

НА ДОНСКОМ БЕРЕГУ

Здесь дубы не сведёшь, как бывало, в полки –
Редкой цепью стоят на поверке вечерней.
И окопы ожине лежачей мелки,
И ползут лишь терны по ходам сообщений.

Часовым — белый бакен, видать за версту...
Неужели резервы все вышли у Ставки?
Ночь придёт, а всех войск неуступчивых тут –
Я, мальчишка седой,
Да дубы-перестарки.

...Я сюда прихожу, виноват без вины,
Тишины зачерпнуть, что тут горше и чище.
Тут позиции те, что врагу не сданы, —
И траншеи на ощупь судьбу мою ищут.

ПИСЬМО ПОТОМКАМ

Проспект Победы, переулок Вдовий
(Блокадный, Инвалидный)... Это — нам.
Не нужно даже ставить номер дома
И называть нас всех по именам.

Пишите нам — таким, не знаменитым,
Ещё «режим» заставшим и «прижим»,
Затюканным генсеками и бытом,
Но вам, по этим стёжкам, не чужим.

Не фейерверком и не брагой пенной,
Не золотой пшеницей на парах –
Мы поднялись травой послевоенной
На пепелищах и на брустверах.

А вы теперь, нос по ветру, блажите:
«Я — мира житель, мне подай весь мир!»
Черняшкою, послевоенным житом
Мы из осколков проросли, из мин.

Наш хлеб хранит тех лет железный привкус,
Но нам не надо за море кивать,
Вставлять фарфор и ставить модный прикус,
Чтоб этот чёрствый, честный хлеб жевать.

Вам это всё, быть может, и не мило,
Но помните, верша фейсбучный суд:
Пока «Фейсбук» вас развлекает «мылом»,
Здесь похоронки — писем с фронта ждут...

* * *

Петру Чалому

«Житы треба, як ни гирко» —
Бабушкино вспоминаю...
Были те слова, как гирька
В наших ходиках — стальная.

Так уже никто не скажет...
Не кляла, не обличала.
И слезы нестёртой тяжесть
Жизни маятник качала.

И пока слеза, нетленна,
На щеке её дрожала,
Белые рубили пленных
В вербах, конный круг сужая.

И просил — на русском чистом –
«Есть», и, молока дождавшись,
Плакал офицер-мальчишка,
Что ночами шёл с Гражданской...

А потом — кулачить стали...
Но когда голодовали —
В полдень на колхозном стане
Кашу-затирку давали...

И в глазах полуоткрытых
То смеркалось, то светало:

Бабушка свой век — в отрывках —
По складам впотьмах читала.

Век, что звал за волю драться,
Сделал кровь и раны — речью.
...И помог в щепоть собраться
Пальцам бабушки калечным.

«Бабушка, ты всех простила?!» —
Сердцу не было покоя.
И она меня крестила –
Той, калечною рукою:

«Житы треба, як ни гирко».
...Ход часов не различая,
Всё подтягиваю гирьку,
Ту, что маятник качает.

ТРЕТЬЕ ДЫХАНИЕ

Что загрустил, чего ты сник?
Ведь за тебя судьба — горою!
Хоть на обочину теснит
Тебя дыхание второе.

И всё, что снилось и жило,
Что билось в грудь, как ветер сильный,
Вот-вот уронит тяжело
Тебя на подорожник пыльный.

Но ты былое не вини,
Не плачь, что век тебя не встретил.
До поворота дотяни –
И опахнёт дыханьем третьим!

Как в детстве, где ты в жизнь врастал, —
Как подорожник, как репейник.
Где, сбив тебя, до трёх считал –
«Ну что, сдаёшься?» — твой соперник.

И дух перевести ты мог,
Ему на милость не сдаваясь.
Вот и судьба считать до трёх,
С тех пор всё учится, сбиваясь...

ШЕСТИСТИШЬЕ

Бурьян побелел — зябко рядом сединам...
Ботва завилась за околицу с дымом.
А жар под золою, лишь дунешь, краснеет.
И честного слова молчанье честнее.

И жизнь, что ботвяной золою лежала,
Лишь тронешь, откроется, полная жара...

P. S.

«Идёшь, на меня похожий...»
М. Цветаева

Крапива жива — стрекаясь,
Похожая на траву...
Я — пальцами резких пауз –
Ткань
Речи
На смыслы рву!

Безумствую ли, бунтую?
Не вызнавший — не перечь!
Я этим рваньём бинтую —
Что в слове нельзя сберечь...

Что строчками не рябило
На выстуженном листе —
Темнело лицом рябины
Сквозь раны её кистей!

И всё, что сквозь бинт сочится,
Алеет сквозь рвань темно,
С тобой — или с ним! — случится,
И будет — судьбе равно.

Святою водой кропили...
Зашили травой уста...
А я всё кричу — крапивой,
Кладбищенскою крапивой,
Касающейся креста...

* * *

Как снег, как дрожью облитая ветка, —
Я на людях стихи читаю редко.
Когда один на сцене остаюсь,
Хочу я тронуть лиру — и боюсь.

Откликнутся?
Лишь только им скажи я,
О том, что люди людям не чужие,
Откликнутся! Но это же потом;
А что мне делать с пересохшим ртом?

И пальцы, лиру сжавшие, не юны,
И поистёрлись золотые струны,
Что я в Эдеме брал когда-то с рук;
И вместе с ними поистёрся звук.

Я трону лиру — миру легче станет?
...Но девочка глаза большие тянет
Ко мне (я разглядел её беду –
Вихрастую, вон там, в другом ряду)...

И всё-таки, читать стихи со сцены, —
Как Афродиту вызволять из пены,
Из пены сигаретной и пивной, —
Богинею, не девкою срамной.

Как снегопад, как лист, задетый дрожью,
Я раздуваю в душах искру Божью...
И потому не за себя боюсь,
Когда один на сцене остаюсь.

* * *

Ты — память... Стёжка в лопухах и — даль...
Не жалость ты, а хмель, и боль, и жаль;
Пчела в цветке: прижмусь щекой — ужалишь
Ты — память. И мой век вздымаешь ты,
Как лемех — затравевшие пласты,
Как плуг, вернуть решивший людям залежь.

Не только мне — всем дням, округе всей...
Ты — свет зерна и тихий шёпот: «Сей!»;
Упав зерном, истлев, ты корни пустишь.

Ты время поворачиваешь вспять,
Чтоб залежь века прошлого поднять
И — нынешнего брошенную пустошь.

Ты — стёжка, приручившая простор;
И — всё, что дрожью век сказал костёр
Течению, и берегу, и вязу.

Ты — мой рассвет, и холод мой, и зной;
Ты — то, что было кровью, жизнью, мной –
И, может, после выстынет не сразу...